

Дневники Юрия Казакова интересуют исследователей по разным причинам. Наблюдения о людях, с которыми общался, о природе Севера, эпизоды охоты и рыбной ловли Казаков включал в рассказы и очерки, которые опубликованы под общим названием «Северный дневник». В них много личного, но мотив сомнений, неуверенности в себе не выносятся на общественный суд. Записки для себя (имеются в виду собственно дневники) приоткрывают душевные волнения и сомнения писателя, его внутреннюю биографию: «Никогда еще не испытывал такой тоски. Казалось, нужно было бы радоваться, а у меня что-то скребет и скребет на сердце»; «Так что же я и для чего живу? Будто рок какой тяготеет надо мной, да и не то: рок — слишком пышно, слишком романтично. Тут другое, именно, что у меня нет цели».

Интересно проследить, насколько в «Северном дневнике», предназначенном для печати, сохранилось личное «присутствие» автора, чем оно важно для прояснения сути наблюдений и размышлений, как оно организует развитие сюжета.

Мы узнаем о том, где, в каких условиях ведутся записи. Автор тем самым достигает эффекта сопричастности читателя происходящему, который может представить обстановку, «разделить» настроение и почувствовать направленность мыслей: «Пишу в носовом кубрике при свете ламп и зеленоватых потолочных иллюминаторов... Стол в кубрике липок и грязен... Хорошо писать под разговоры, под говор быстрой северной реки, в табачном дыму, в запахе рыбы, острого рассола... мысли мои гуляют далеко, пока наконец я не потрясаюсь радостью и удивлением, что я здесь, на Белом море, в этом кубрике, среди этих людей».

Писатель как бы на наших глазах пытается осмыслить жизнь моряков и приглашает читателя сделать то же самое: «Нужно постараться представить себя на месте этих людей и вместе с ними». Здесь же приводит Казаков без изменений и корректировки выписки из своего дневника.

Казаков не очень доверял мимолетным впечатлениям. Рассказывать о Севере и его людях он берется потому, что удалось пожить среди этих людей, проверить и перепроверить первые впечатления.

К собственным наблюдениям он почти всегда подключает рассказы самих северян. Собеседников своих он не идеализирует, но очевидно противопоставление их жизненного опыта тому, как в советской литературе изображалась жизнь деревни: «Почему-то я вспомнил десятки славных в свое время романов и повестей о деревне — как там все было прекрасно! В деревне — по этим книгам — было электричество, радио, гостиницы, санатории, высокие трудодни,

необыкновенные урожаи, телевизоры и бог знает еще что. <...> Как хотел бы я тогдашнего писателя или критика перенести вот сюда, на берег моря, к Нестору, как бы хотел я посмотреть на них!..»

Порой может показаться, что автор готов своему творчеству противопоставить труд рыбаков, моряков. Однако это вовсе не отказ от своего, но мысли о том, как может состояться в жизни мужчина: «...Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить, или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда...»

Именно форма дневника определяет установку на правдивость, позволяет соотнести давние впечатления с более поздними. Все составляющие дневников Казакова воспринимаются как единый текст, скрепленный личностью автора. В записях часто звучат вопросы к самому себе. Они «озвучиваются» для того, чтобы «на глазах читателя» попытаться найти ответ, разобраться в себе, понять тех людей, с которыми свела жизнь: «Случай забросил меня сюда ненадолго. Скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней?..»

Особенно ценны для понимания автора и его восприятия жизни те записи из «Северного дневника», в которых передано чувство общности с людьми: «Заглядевшись на облака, я вспомнил все последние дни, проведенные на шхуне, и свое ощущение покоя, сознание важности того, что происходило вокруг. Я почти не спал, дни и ночи проводя на палубе. Да и мало кто спал...»

Больше всего, по Казакову, человеческие возможности раскрываются в труде — обнаруживаются воля, способность принимать решения, профессиональное мастерство. В записи включены диалоги с теми, кто знает цену труда поморов. Автор акцентирует внимание на том, что люди эти никогда не жалуются, не считают чем-то особенным, тем более подвигом, свой труд. Да и сам Казаков, не будучи моряком, часто оказывался в ситуациях опасных и разделял все трудности рыбацкой профессии: «Я не моряк, но так получилось, что за двенадцать лет прошел добрый десяток тысяч миль на самых разных судах — от карбасов и мотоботов до тральщиков и зверобойных шхун. <...> И все-таки в самом легком плавании устаешь. Устаешь от непрерывного, круглосуточного, кругломесячного гула двигателя, от вибрации корпуса, палубы, койки, супа в тарелке и чая в стакане, от вибрации собственного тела».

То, что, на первый взгляд, может показаться мелким, незначительным, слишком приземленным, Казаков видит совсем по-другому: «Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, а кого-то не печатают — все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут... Тут вот со мной рядом лежат рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошли дождя или не пошли, побережник ветер или шелоник, опал взводень или нет... Но, может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь?»

Северные дневники привлекают уважительным отношением автора к людям Севера и умением выделить из общей массы людей ярких, запоминающихся, заинтересовавших не только судьбой, но именно индивидуальностью. Таковы Марфа, Манька, Нестор, Кир. Подлинным героем дневников стал и легендарный Тыко Вылка, который «учил мужеству, всю жизнь деятельно творил добро».

На Севере Казаков прошел и серьезную проверку одиночеством. Мотив одиночества во многих записях стал центральным: «Не горы меня пугают и не расстояние, а то чувство великого одиночества, забытости...»

Не один раз и в собственно дневники и в дневниковые очерки Казаков вводит имя Пришвина как своего Учителя, предшественника, чей творческий и жизненный опыт оказался примером: «Все, о чем он пишет, освещено у него какой-то высшей мудростью... Мудрость эта, преподнесенная людям в союзе с волшебством поэзии, перестает уже быть абстрактной мудростью, а принимается нами в себя как уже наше, свое».

Как и Пришвину, северная природа открыла Юрию Павловичу часть своих тайн, своей необычной суровой красоты: «Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, и этой природе, которая делает Север ни на что не похожим — древность ли живет здесь и властвует над всяким приезжим, или века, которые здесь как бы и не текли?..»

С другой стороны, в дневниках писателя звучат предельно грустные мысли об умирании Севера, о том, что ему уже не откроется та Правда, которую постиг Пришвин: «...главным укором мне служит то, что Пришвин, отправляясь в свой путь, восходя на Голгофу (в духовном смысле), имел перед собой цель, идеал что ли...»

В этих записях сентября 1958 года Казаков признается, что он не чувствует той родственности к северному народу, которая есть у него к среднерусскому. И несколько раз записки завершаются вопросом к самому себе: «Зачем, зачем я здесь?»

В то же время в дневниках-очерках интонации вполне жизнеутверждающие. И не хочется думать, что Казаков кривит душой: «Я жалею, что о многом не написал, многое пропустил, быть может, очень важное. Я хочу снова попасть туда. Потому что Север только начинает жить, его пора только настает. И мы застанем эту пору...»

Этот очерк датирован 1960 годом, а в Соловецких мечтаниях 1966-го снова звучат трагические ноты, связанные с разрушением, разорением, умиранием: «Постояв, стали мы спускаться к этому чуду, стали подходить все ближе, ближе и наконец пришли — и стало нам жутко... Все было — как после войны, как после нашествия марсиан, — мертво, пусто, ни души кругом, одни мерзостные следы запустения и какого-то извращенного разрушительства... Сколько столетий теплилась тут жизнь, ежевечерне плавал над морем и озерами колокольный звон... И вот теперь конец и смерть».

Пожалуй, единственное, что безотказно помогает писателю преодолеть тоску и отчаяние, — это чувство движения. Содержательную роль играет мотив дороги: «Все проходит — усталость, злость, бешенство, нетерпение и тупая покорность от дорожных трудностей, не проходит вовеки только очарование движения, память о счастье, о ветре, о стуке колес, шуме воды или шорохе собственных шагов».

Возникшая в юности страсть к охоте удовлетворялась в условиях Севера вполне. Нам эти записи интересны, поскольку в них особенно ярко раскрывается талант Казакова-художника, его способность видеть и слышать. Обращаем внимание, как он слушает народные песни, как передает удивительные напевы Калевалы: «Ортые ворочается, жмурится, кряхтит от удовольствия. Ему хорошо, завидую я ему — он все понимает, он как бы пробует на вкус все эти прекрасные слова, и сладки они ему!»

Удастся Казакову передать и то, как может звучать молчание: «Молчание перестает быть отрицательным понятием, оно наделяется положительными качествами. Я его слышу, и вижу, и чувствую. Страшным призраком встает оно

передо мною, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегая со скалы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляя скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти...»

Очень часто в записях отмечены различные запахи: «В этих домах пахнет прошлым веком — старым деревом, старой одеждой, многолетней пылью... В домах пахнет еще морем: рыбой, сухими водорослями, старыми сетями, сапогами, сшитыми из тюленьей кожи»; «Во дворе в ночной свежести пахнет камнем, пылью, мусором... В лесу сладко обдает нас мхом, торфом, хвоей, и в настое этом едва уловимо звучит теплый камень».

Передан специфический запах палубы: «Теперь палуба была чисто умыта, но все равно таила в себе запах воровани, слабый и нежный от прошедшего с зимы времени, когда она была залита, заляпана тюленьим жиром и кровью, и трюм сейчас был пуст и гулок, как колодец, с наваленной по углам солью, но тоже пахло зверино, дико — пахло промыслами, отдалением, зимними льдами, кровью и кислым пороховым дымком».

Оживают в дневниках Казакова и неповторимые краски Севера: «Можно выйти поздним вечером к Двине у центра города, и тогда — о! — тогда поражаешься сиреневому цвету огромной массы воды, обилию света, нисходящего на город с океана, с норд-веста, и всему северному горизонту, являющему собой широчайший световой экран, прорезанный кое-где только тугими завитками черного дыма из пароходных и заводских труб».

Пытаясь создать литературный портрет Казакова, И. Кузьмичев в своем исследовании «Юрий Казаков: набросок портрета» размышлял о «Северном дневнике» и подчеркивал значимость выбранной писателем формы. В ней важны и исповедальные интонации, и отражение эволюции отношения к Северу за годы путешествий и командировок в эти места: «Страницы дневника накапливались постепенно, складываясь в самостоятельные очерки-главы. Между ними не обязательна прямая сюжетная связь; форма дневника, предполагающая последовательную авторскую исповедь, цементирует эти очерки в цельную книгу».

Представляется принципиально важной в контексте этого портретного очерка оценка жанрового своеобразия дневников Казакова: «Мы имеем дело с продуманным, отредактированным замыслом, с единой книгой, а не просто сводом разрозненных путевых заметок».

Интересна характеристика текста дневников по многообразию их тональности, многоголосию интонаций: «...помимо решительной интонации корреспондента, человека с киноаппаратом, другие интонации. Настороженную, мечтательную, поэтическую <...> грустную, лирическую, навеянную интимными воспоминаниями. И еще — мужественную интонацию, подсказанную, подаренную самими героями повествования. Такое богатство интонаций неизмеримо поднимает Северный дневник над уровнем заурядных путевых очерков и создает в нем тонкую полифонию пульсирующего, употребляя казаковское слово, подтекста».

Казаков постоянно информирует нас о том, как ведутся записи, подчеркивает неадекватность, сухость их по сравнению с живой жизнью: «Я сухо передаю сейчас то, что записал тогда среди гомона, курения, обсуждений и поправок каждой цифры в ту или другую сторону».

Читатель, как уже отмечалось вначале, становится свидетелем и соучастником сбора материала: «И каждый раз, входя в новую, неизвестную тебе деревню, глядишь во все глаза, слушаешь и нюхаешь, подмечаешь все мелочи, архитек-

туру, выражение народа, населяющего этот уголок, напиткиваешься сразу, все принимаешь к сердцу... с удовольствием слушать их, вникать в их жизнь и по возможности понятнее объяснять им свою и зачем ты здесь появился».

Север в дневниках Казакова интересен не экзотикой. Суровый климат и условия жизни воспринимаются как серьезная проверка всех человеческих качеств. Пожалуй, именно дневники позволяют войти в творческую лабораторию Казакова и уже сегодняшним взглядом оценить замечательного русского прозаика середины XX века.

Среди наиболее значимых мотивов в его произведениях — мотив дороги, одиночества, радости приобщения к миру природы. Для Казакова-писателя характерно всегда искреннее общение с читателем в поисках смысла жизни, в осознании своего предназначения. Любая встреча воспринимается по связи с собственной жизнью — как проверка себя и выяснение своего умения понять другого человека.

